

Переписка Владимира Федоровича Одоевского и Алексея Степановича Хомякова

А. С. Хомяков — Одоевскому
<9.VII.1845>

Сколько раз уже собирался я к тебе писать, любезный Одоевский! Если скажу, что раз десять, право, еще мало. Надобно было благодарить за присланный экземпляр твоих повестей, объяснить отказ в участии и издании книг для народного чтения, поблагодарить за присланную «Азбуку», которая очень хороша, несмотря на приписку Соболевского, и еще о многом и многом написать к тебе. Не писал я, кажется, только потому, что именно надобно было писать о многом и многом, а в этом случае всегда бывает трудно за перо взяться. Так давно мы не видались, так мало виделись в последнее наше свидание, и так трудно писать, когда всякое слово требует комментариев и объяснений, возможных только при живом слове, т. е. при долгих, искренних и нешуточных беседах. В последнем письме твоём (при «Азбуке»), ты как будто жалуешься на молчание «Москвитянина» о твоём издании. Кажется, оправдывать «Москвитянина» уже не нужно. Если бы он был жив, то он стал бы говорить о тебе и говорить серьезно: в этом ты можешь быть уверен, если сколько-нибудь отдаешь справедливость самому себе. Разумеется, не все бы было похвала: примешалась бы и горькая критика не художественного достоинства, но самых основ твоей мысли. За это и ты бы не погневался, но статья была бы серьезная и об ней уже было говорено часто и много. Боги решили иначе. «Москвитянин», умиравший тихую смертью прошлого года, на время оживленный в начале нынешнего Киреевским, убит болезнью своего нового издателя, который от него отступился, и переходит окончательно в состояние предсмертной летаргии. Дотянет ли он кое-как до 1 января — неизвестно, но во всяком случае его уже ни судить, ни осуждать нельзя. Умиравший неприкосновеннее даже умершего. За всем тем, если издание «Москвитянина» продлится, в каком бы жалком виде оно ни было, я дам сколько-нибудь статей, как продолжение уже напечатанных. У меня к делу такого рода нет никакой охоты: эти беседы с публикою совсем не по моему вкусу. Бог с нею! Тысячу раз веселее, отраднее и мне более по сердцу занятия древностию и историею в ее самых темных отделах. Они дороже мне всякой похвалы, дороже, чем в истории веки и почти дороже живой охоты осенью (впрочем, последнее сомнительно). Например, на днях нашел я несомненный след антов и венедов на Кавказе в третьем веке после Р. Х. и подтверждение свидетельства Иорнандова о первой причине войны гуннов с готфами. Сердце разыграло радостью несказанного; а делать нечего. Приходится исполнить долг совести и потолковать еще с публикою, хоть она бы и не слушала и не читала, и толковать о сущем вздоре — о современности. Если ты читал мою статью в 4-м № «Москвитянина», ты там видел отчасти причину, почему я так решительно отказался от участия в «Сельском чтении». Я уже не говорю о том, как оно издается и распространяется, но об содержании и языке и всей, так сказать, ипостаси издания. В нем, по-моему, нет никакой возможности участвовать. Ты в нем пишешь, и поэтому, может быть, мне и не следовало бы тебе так откровенно говорить свое мнение, но, с другой

стороны, мне и не следует тебе не сказать своего мнения; наша давняя приязнь требует откровенности. Мне кажется все издание «Сельского чтения» крайне оскорбительным явлением и выражением глубокого, ничем не заслуженного и во всяком случае непозволительного презрения к просвещаемому. Ты сам, вероятно, нисколько не дорожил приглашением москвичей к участию в этой книге: я мог бы и не объяснять причин, по которым я отказался, но я говорю об них потому, что они связаны со всею деятельностью или со всем направлением, в котором мы желали быть деятельными. Неужели же нам суждено, наконец, быть противниками? Разумеется, если бы и так, то это нисколько не изменило бы наших старинных дружеских отношений, но прибавило бы много горечи к делу, которое и само по себе уже не больно отрадно. Да неужели это необходимо? Я не могу до сих пор в этом увериться и говорю это тебе с тем большим правом, что без тебя я всегда был твоим защитником, когда другие на тебя нападали. Мне кажется, все дело в недоразумении. Ни ты, любезный Одоевский, ни другие, которые вместе с тобою всегда желали добра и подвизались за него (как, напр<имер>, Жуковский), вы не вполне оценили минуту современную ни в России, ни вне России. Дело всех людей, всех народов решается собственно у нас, а не на Западе, дело истинное, дело просвещения и жизни, которое гораздо выше и важнее всех так называемых практических вопросов. Очевидно, если бы оно могло решиться на Западе, оно бы уже и было решено или, по крайней мере, будущее решение было подготовлено так, что всякому порядочному мозгу оно бы было доступно в своих общих очерках (хоть, разумеется, и не в своих подробностях). Если же оно там не решено и не может быть решено, то смешно бы было искать его решения в тех путях, по которому <так!> шло западное человечество, по которому и теперь идет западное просвещение. Нужны и новые данные, и новый строй мысли для разрешения задачи или для проложения путей, по которым она может быть разрешена. А мы живем, думаем, действуем только по направлению, данному нам с Запада: ergo, мы живем, думаем и действуем не только по-пустому, но и с явным вредом для самого дела, ибо мнимую деятельность отстраняем те новые и живые начала, на которые должна опереться мысль, чтобы уясниться и подвинуть вперед человечество. К этому прибавь, что личное действие и личные силы всегда бесплодны: они имеют только значение анализа, ничего не создающего, или синтеза, совершенно произвольного и, следовательно, совершенно бесплодного. Только жизнь целого общества, целого исторического народа может обогащать все человечество новыми и плодovitыми данными, потому что оно содержит в себе, кроме частных сил человека, внутренний нравственный закон, связывающий людей друг с другом, устраняющий страсть и односторонность каждого и ставящий общечеловеческое убеждение на место частного произвола. Поэтому только в жизни народа и может человек найти точки опоры и силы для действия: но для этого он должен сжиться с жизнью народа не только мыслию, но целым своим существом, а не глядеть на нее свысока и с ходуль иностранного просвещения. До сих пор мы были в школе: положительные знания приобретены; привычка к отчетливости и анализу мыслей усвоена. Пора заглянуть в свою собственную духовную внутренность бесстрастно и без предубеждений, но с уважением к громадным, до сих пор не понятым силам, создавшим громаду России. Вот в чем все дело. Я бы об этом не стал к тебе писать, если бы надеялся скоро видеться: но нельзя было не сказать своих мыслей. И так уже, к нещастию, между нами так много разрывов, происходящих по большей части от недоразумений, что грех не стараться об устранении всех возможных недоразумений и разрывов. Мы чувствуем себя разъединенными: думаю, что и вы чувствуете то же; но этому бы не должно было быть, и я верю, что этому не бывать, если только такие люди, как ты, признаете и оцените так называемое московское движение, которое, впрочем, кажется и не буйно и не торопливо.

Прощай; будь здоров. Скажи всем приятелям мой поклон и почтение мое княгине.

Июля 9 дня.
Твой от души А. Хомяков.

Одоевский — Хомякову
<20.VIII.1845>

Описать тебе чувство при виде твоего почерка, любезный друг Хомяков, было бы ребячеством и даже невозможностью; надобно испытать, что значит состояние человека, который привык любить людей душою, достиг до тех лет, когда уже новых друзей не наживают, и с каждым днем видит, что его друзья к нему холодеют, принимают какой-то странный, по крайней мере для него, образ, и он перестает их узнавать в этом непонятном наряде, и потом этот человек уверяет, что еще они о нем помнят. Письмо твое я получил сегодня, т. е. 20 августа, почти два месяца после того, как ты его написал, я бы мог получить его двумя неделями раньше, ибо еще 8 августа возвратился из моей блаженной Чухландии, где между камней (слава Богу — не людей), нагретых солнцем, я запасаясь силами душевными и телесными ради моей трещоточной жизни, в которой держит меня провидение; но твой винокур что ли держит его у себя под предлогом, что не знал, где я живу, когда это в Петербурге знают на всех перекрестках. Твой винокур объявил мне, что едет завтра — спешу отвечать тебе, как под перо попадет, — ибо голова у меня трещит и сердце выскочить хочет от всего, что я должен, необходимо должен сказать на твое письмо, оно меня и тронуло, и взбесило, и удивило. С чего начать — мысли так и рвутся на бумагу — буду держаться порядка твоего письма. Во-первых, писать мне к тебе несколько легче, нежели с тобою говорить, потому что ты в диалектике, как в поле, во что бы ни стало хочешь нагнать зайца и затравить его. На бумаге мне удобнее обороняться против твоего диалектического наездничества, ибо не увлекусь твоим прекрасным живым словом, не забудусь под твоим обаянием и выскажу вполне то, что считаю за истину в глубине души и для которой нахожу математическое подтверждение в двадцатилетней жизни, поставившей меня по воле судеб в сношения с десятками тысяч *русских* людей всех званий, всех возрастов, всех степеней образования. Разделение на русских иностранцев и на русских-русских — есть нелепость, все мы русские, все любим Россию и по внутреннему чувству, и потому что с нею соединена и вся наша внешняя жизнь, которая также что-нибудь да значит; вся разница в том, что одни ищут построить свою русскую жизнь на элементах какой-то допотопной Руси, еще не открытых, другие по тем результатам, до которых она достигла в настоящую минуту; оттого у первых квиетизм, неразлучный с углублением в прошедшее, а у других деятельность, не всегда, может быть, верная, но все-таки деятельность, которой всегдашнее, естественное следствие возбуждать все роды деятельности, иногда даже противоположную; ты знаешь: никакое действие не достигает своей прямой цели, но получает направление, обуславливаемое всеми окружающими его действиями — это мы видим даже в кометах, которые уклоняются от своего пути, притягиваясь то тем, то другим небесным телом; но это действие в общей системе сил не умирает, но возбуждает ими другие, с ним сходные или противоположные; и таков закон природы, что никакая сила, и тем более умственная, не может не действовать, ибо иначе она бы умерла; камень своею неподвижностью также действует, но как?

препятствует под ним земле развиваться органически, или запрудив реку. Этого рода недвижность пугает меня в москвичах, а признак этой недвижности вижу во всем, а между прочим и в смерти «Москвитянина», она меня пугает тем более, что в этой недвижности вижу один из старых славянских элементов, по милости которого в связи с беззаботностью, с поговорками: мое дело сторона, трава не расти, волки их ясть — нас держали в плену татары, были и поляки, и немцы, и шведы, по милости которого от откапываемого вами древнего русского просвещения не осталось других памятников, кроме проповедей, переведенных с греческого или подражаний византийцам, Бовы Королевича, переведенного с итальянского, Кремля, построенного итальянцем, сказок, где прославляется одна физическая сила, песен, подобно кавказским, не выходящим из круга наездничества или разбоя, или где женщина унижена татарским презрением, Судебника, ограничивающегося фискальною частью, Уложения, большею частью взятого из византийских толкований на Римское право, наконец, общественной жизни, которой красота является в записках Курбского, Желябужского и Кошихина; и была бы в России <так!> недвижна, как недвижны, напр<имер>, финны, которые до сих пор сохранили свою физиономию, язык, нравы от Балтийского моря до Сибири, и которых не бил только ленивый, если бы Петр не привил нам нового деятельного элемента, какой бы он ни был: западный, французский, немецкий — все равно, но с которым явились у нас и Ломоносов, и Державин, и Жуковский, и Пушкин, и Гоголь, и Хомяков, и Киреевский, и университеты, и Академия, и грозная для Европы сила — словом, все то, по чему наши потомки доберутся, в чем состояло русское просвещение, то есть именно то, чего вы не найдете в допетровской Руси; а между тем действие Петра не было ни русское, ни даже вполне сознательное; он связывал с Россиею иностранные имена впопыхах, переносил все, что нужно ему было для потребностей минуты; ты знаешь даже, что его любимой мыслью было ввести протестантизм, одна смерть ему помешала, и все было приготовлено — и что же? от всего этого болезненного процесса сделались ли мы немцами, французами, голландцами? нет! Мы все съели и переварили в свою плоть, и, как ты сам говоришь в 4 т<оме> «Москвитянина», русский сохранил свою самобытность; деятельность Петра не привела нас туда, куда он думал привести, но дал <так!> пищу нашей собственной деятельности, а вы, господа, хотите, чтобы мы ели наш собственный желудок; разумеется, это возможно в жизни народа, но от этой пищи происходят лишь финны да китайцы. «Москвитянин» умер, и ты говоришь об этом так хладнокровно, как о смерти шелудивой собаки; ты радуешься, что не будешь говорить с публикой, что ты заедешь к гуннам, антам и венедам и к другим историческим призракам! — для меня это горе и горькое горе! Как вы цените Россию, ты Хомяков, Киреевский, Шевырев, десятки ученой благородной молодежи, — в вас же не достало столько характера, чтобы выдержать более двух лет издания, которое всеми было принято с восторгом; что помешало? недостаток денег? Но у «Отечественных записок» было в первые два года 100 тысяч руб. долга, — теперь у них 4 тысячи подписчиков; хлопоты с цензурой — для кого их нет? Я слышал, что в первый год у вас было более тысячи подписчиков, а с этим журнал может жить при небольшом самоотвержении участвующих. Нет! помешали вам следующие славянские элементы, которые недаром гоню и буду гнать до гроба, а именно: лень, беззаботность, «мое дело сторона», да помешали вам проклятые гунны, анты, венеда и прочая челядь. Какой чорт ты в них ищешь? Восстановить их поэтически, написать поэму — я это понимаю; но неужели ты думаешь посредством сих исторических извлечений построить дотатарскую Русь, а посредством дотатарской Руси найти закон русской жизни в настоящую минуту? Мечта! Мечта! Чтение любопытного романа, который заставляет забывать, что земля трясется под ногами! Между антами и венедами и дотатарской Русью —

пролегли ряды веков, между дотатарской Русью и Петром пролегли татары; от Петра до нас полтора века, которые тоже что-нибудь да значат; ищи русскую жизнь, ищи ее во всем тебя окружающем, в настоящей жизни народа во всех его классах, ищи в себе, во мне, даже в Булгарине, — выведи из всех этих данных уравнений, которые определили жизнь от нас, а потом и ступай к своим гуннам. Но чтобы найти всех по данным — надобно заставить их говорить. Ты утверждаешь в твоей статье (№ 4 «Москв.»), что их надобно искать в мужиках — но не сказал, в каких: петербургских, московских или степных. «Маяк», извини, что называю его, подлого, тебе, утверждает, что надобно искать русский дух не в тех мужиках, которые живут у больших дорог, — а по проселочным, т. е., другими словами, тех, которые живут, как финны, не сходясь друг с другом десятки лет на двух верстах. Согласен и на это; но только приставь к этим господам переводчика, который бы рассказал, какая мудрость хранится в глубине сих невинных душ, — ибо сколько мы грешные ни подслушивали, они говорят только о том, что они ели вчера и что будут есть завтра, может быть, говорят и очень дельно, но из того не выведешь никак ни русской политической экономии, ни русской истории, ни русского права, ни русской политики, ни литературы, ни прочего т. п. Взяли в господа младенца, который не буйнит, ни в трактир не ходит, ни в другие подобные заведения, — любуетесь его невинностью, и утверждаете, что в нем-то мудрость, потому что он пьет одно молоко, — да заставьте же рассказать свою мудрость — тогда научимся; когда же заговорит он? Когда услышит чужое слово, когда это слово будет по нем — в этом вся штука. Ну что тебе скажут твои анты, венеды, проселочные мужики, да и хоть бы отец Паисий, который занимает полкнижки «Москвитянина»? Что ты откроешь из того, что он вошел в корабль, вышел из корабля, предпоче-ща от пути, потом беседовал с такими же Паисиями — чем его жизнь и толкование оной подвинули разрешение тех задач, которые не дают нам спать и заставляют рыться в смраде западной жизни и науке? Какое значение такого рода жизней и творений в человечестве, даже в отдельном народе? Слушай, вот тебе пример: «Москвитянином» я похвалиться не могу; за исключением нескольких статей, он своим направлением доходит до сумасшедшего «Маяка», на котором верхом едут несколько людей, у которых лишь свой карман на уме; в политических статьях он в порыве гнева унижается до болгаринских намеков — многое, многое в нем было для меня прискорбно, но «Москвитянину» я многим обязан, — он меня заставил подробнее себе отдать отчет в моих собственных понятиях, его противоречие я одолел тем, что обратил внимание на стороны вопросов, коих я не замечал, почитая их решенными; словом, он дал мне несколько данных pro и contra — есть новое для меня противодействие, но все-таки в действии «Москвитянина», если ты читал со вниманием «Русские ночи», то должен видеть, в чем я с ним согласен, в чем нет. Что о «Москвитянине», то разумей и обо всем; ничто касающееся до настоящего не теряется — все прямо или косвенно возбуждает деятельность; твоя статья > 4 кн. «Москвитянина» имеет гораздо высшее значение, нежели все твои изыскания о двуногих телемнитах и аммонитах — она протирает глаза на многие вещи — это говорю тебе я, который на две трети статьи с тобою не согласен. То, что ты говоришь о мнимой деятельности, говоришь не ты, а твоя охота позабавиться гуннами и готфами. Кто спорит! Разумеется и для меня неужли радость писать для народа; возиться с детьми и писать для них «Азбуки»? И мне бы веселее было удариться хоть, напр<имер>, в алхимию — что за сахар? не чета твоим антам и гуннам! Да мало ли забав у меня? а контрапункт, а ботаника, а математика, к которой вот уже два года так и тянет меня — но увь! — я пишу для народа и для детей потому, что *никто другой* не пишет, а посему необходимо писать для тех и для других, по моему мнению, о том потрудись взглянуть последнюю страницу «Русских ночей». Если вы, господа, знаете всю подноготную русского человека,

зачем вы не пишете для него, для чего нас своим письмом не учите; завели вы «Библиотеку для воспитания», — многое в ней мне не по сердцу, — но я сую ее всюду, где могу, и что только успел написать, послал в нее; — так я понимаю жизнь; а не в отстранении, не в затворничестве, не в терпимости, — не в кулачном бою ни за что ни про что, а так, оттого, что не по-нашему. Странная моя судьба, для вас я западный прогрессист, для Петербурга — отъявленный старовер-мистик; это меня радует, ибо служит признаком, что я именно на том узком пути, который один ведет к истине.

Теперь поговорим о «Сельском чтении». Твое мнение о нем не только меня огорчило, но и несказанно удивило. Я тебя просто не понимаю. Уж не смешиваешь ли ты его с подражаниями, которые оно возбудило, напр<имер>, с «Сельскими беседами» Фишера и другими изделиями в том же роде. Уверяю тебя, что до твоего письма, читая в 4 № <Москв.> твою выходку против народных чтений, я никак не воображал, что дело идет обо мне, грешном, а еще подумал: «Экой злодей, верно, и не разрезал моего „Сельского чтения“!» Это показывает, в каком я или ты заблуждении.

Сделай милость, объяснись подробнее — это для меня весьма важно, ибо над этим делом я тружусь от души; оно совсем не легко и дорого мне стоит во всех отношениях <...>

Одоевский — Хомякову
<20.1.1859>

По прекрасным стихам твоим, напечатанным в 1-м № «Паруса» (который, к сожалению, дошел до меня слишком поздно), заключаю, любезный друг Алексей Степанович, что ты — сотрудник или соредатор этого курьезного журнала. Объясни же мне, сделай милость, на основании какого татарского кодекса, г. К. Аксаков соблаговолил, на последнем листе нумера, нелепую и шутливую фразу *собственного его изделия* вложить в уста мне и, таким образом, на старости лет, рядить меня в шуты? ведь это, если перенестись в струю народности, то же, что на кулачном бою запустить свинчатку в рукавицу. Как все это называется?

Я довольно равнодушен к нападкам, ибо, по моему убеждению, печатающий, след<овательно>, публичный человек — нечто вроде публичной девки, и потому должен быть готов на всякий трактament; но и на публичную девку не следует взводить небылицу. Г-н К. Аксаков уже несколько раз, в разных печатных статьях, ни к селу ни к городу, задевал меня (сколько помнится, раз шесть с походом); я не обращал на это внимания и не хотел из-за такой дребедени тревожить моего старого боевого коня, который, слава те Господи, еще на порядках, как потому, что уже более 10 лет не печатал почти ни одной строки, так и всего более потому, что Аксаков был всегда в опале; по деликатству, не хотелось мне нападать на человека под гнетом — это не в моих правилах. Г-н К. Аксаков не понял моего деликатства точно так же, как не понимает ни русского народа, ни его потребностей, ни телесных, ни душевных; в благодарность 1 № «Паруса» уж не задевает меня, а просто норовит кулаком: *выписывает мое имя всеми буквами и, без дальних околичностей, ставит возле него галиматейную, гаерскую фразу, да еще для лучшего убеждения читателей, что эта фраза — действительно моя, приставляет к ней водяные знаки.* — При такой обстановке, лукавое слово «почти» — ничего не значит; в глазах читателя, шутовская фраза остается *привязанною к моему имени.* — Это уж из рук вон!

Всего отраднее то, что мои старые друзья, *участвующие в «Парусе»*, нисколько не возмутились подобною гадостью; № 2 вышел безмятежно, без оговорки, как ни в чем не бывало. Да они, я чаю, и сами уверены, что глупая фраза действительно находится где-нибудь в одной из 4-х книжек «Сельского чтения», которого они не удостоили и прочтением. Что им нужды! другое дело — если б речь зашла о честном имени Бовы Королевича или Еруслана Лазаревича!

Воля ваша, господа; я сужу о себе очень строго, но думаю однако же, что ни моими трудами, ни всею жизнью, сколь бы ни мало все это ценилось моими друзьями, — я не заслужил подобной позорной проделки, которую бы грех было употребить и против Булгарина с Сенковским. — Довольно я измарал бумаги по моему веку — было из чего выбрать; что написал и напечатал — от того никогда не отрекаюсь, и пусть о том толкуют и вкривь и вкось, — но принять безмолвно на себя чужую нелепость не могу, не хочу и не должен.

Ожидаю, что в самоближайшем нумере «Паруса» г. К. Аксаков исправит свое забвение и литературных и житейских приличий, и напишет *извинение*, без всякой задней мысли, а как следует благородному человеку, сделавшему непростительную неучтивость в отношении к человеку, к которому, скажу не обинуясь, он обязан полным уважением и по его честным трудам, и по его характеру, никогда себе не изменявшему.

В противном случае я буду вынужден, по чувству самоохранения, вывести эту проделку на свежую воду, и при сем случае рассмотреть поближе права г. К. Аксакова на подобное беспардонное наездничество.

С тем вместе налагаю на тебя, как на моего старого друга, святую обязанность свидетельствовать перед всеми, кому придется, что я доньше молчал, несмотря на все нападки г. Аксакова, единственно потому, что они всегда приходились в такую минуту, когда он попадал под сюркуп; что не малодушно и не с татарским легкомыслием уступал я моему оскорбленному самолюбию и что лишь подобная последней невообразимая непристойность вынудила меня выйти из моего красноречивого безмолвия — *на сей раз, несмотря на то, в какую бы западню ни попался «Парус», — чего, к сожалению, должно ожидать, ибо 2-й № еще нелепее первого!* Не понимают эти господа, какой огромный вред они производят во всех возможных смыслах. (Здесь все убеждены, что «Парус» имеет одну цель: чтобы его поскорее запретили, и таким образом избавиться от трудной и неясно им сознаваемой обязанности, на себя взятой.) Есть же мера всему!

Все это очень грустно, а еще грустнее то, что всему виною наша славянская кровь. В такую великую минуту, как ныне, когда все, что чувствует и мыслит на Руси, должно бы истощить свои силы, чтобы выйти счастливо из кризиса, мы выходим только на кулачки, ради наших страстишек! Что за отатарившаяся Византия!

Твой старый друг *Одоевский*

20-е янв. 1859. СПб. Румянцевский музей на Английской набережной.

*Хомяков — Одоевскому
<Конец января 1859>*

Любезный друг, Одоевский, я не хотел тебе отвечать, не дождавшись решения судьбы «Паруса»; но так как это затягивается, отвечаю. Первое дело: ты не прав, обвиняя всех своих друзей: Авдотья Петровна сильно досадовала, Шевырев гневался, Максимович оскорбился, Кошелев сердился почти до ссоры, а я почти до слез... смеялся. Тебе пришлось бы сердиться только на меня; но я и теперь

утверждаю, что не за что. Кому же это придет в голову, чтобы *ты* сказал такую нелепость? Решительно утверждаю, что в Москве такой вздор никому в голову не входил: а что у вас, того мы никогда не угадаем. Акс<аков>, за это я ручаюсь, нисколько и не думал тебя оскорбить: он на тебя может сердиться по принципам, таким или другим, но тебя как писателя он искренно ценит, а как человека упрекает только в том, что ты петербурец <так!>. Он просто хотел характеризовать эпохи. Эпоха 1-я, к народу вовсе не обращаются. Эпоха 2-я, Одоевский трактует народ как ребенка и чуть-чуть не говорит: «Душенька народинька». (По-моему, он мог бы и чуть-чуть выпустить; смысл был бы тот же). Эпоха 3-я, худшая и т. д. Неужели ты тут видишь личность? Он сейчас готов печатно объяснить этот взгляд, если «Парус» уцелеет; но друзья же твои теперь его удерживают, и едва ли не умно делают, потому что не должно придавать важности тому, чего читатель не запомнит. Впрочем, как хочешь, а он сейчас готов был все объяснить печатно и при первом моем слове. Верь мне: души, столько неспособной к желанию оскорбить, не найдешь. Ему, как геллертеру, пришла в голову эпоха литературная в одной специальности, и ты, как наиболее даровитый, должен был ее представить. Словом, которым он хотел характеризовать отношение этой эпохи к поучаемому народу (отношения ты отрицать не станешь), сказал он просто, и не думал, и не думает (точно так же, как и я), чтобы тебе его могли приписать, как голо высказанное. У нас таких Вельшей нет, которым бы это в голову пришло. Акс<аков> тебе враг, это бесспорно, но как? как петербурцу, как неуважителю народа, но это вражда, которая даже и не допускает самой далекой мысли об оскорблении человека. Скажи, и он все это готов объяснить; но думаю, что твои друзья правы.

Еще прибавлю: не думаешь ли ты, что он, как враг по принципам, захотел употребить против тебя насмешку? Это он считает безнравственным и мне иногда попрекает в употреблении такого оружия. То-то и забавно, что он такие штуки отпускает вовсе бессознательно, с глубоким негодованием, с самым постным лицом, и сейчас бы сам свои слова вымарал, если бы только вообразил, что кто-нибудь рассмеется. Инвектива — сколько душе угодно! Насмешка — никогда. Вот тебе Аксаков. Можно на него сердиться за неловкость, но подозревать его нельзя никогда ни в чем.

Перезабыл ты Москву, милый Одоевский: перезабыл ты нас. Если бы ты помнил, то ты бы понял и то, что тебе легохонько можно попасть в статью, писанную человеком посторонним и не прочтенную друзьями прежде печати. Кого же мы станем бранить? Дураков или подлецов? Бешенцовых или Булгаринных? Кроме умных и честных никого бранить мы не можем, и чем даровитее и чем благороднее, тем охотнее. Что ты сделаешь из глупца или из подлеца? Умницу или высокую душу? Да они по правде и безвредны. Исправимы только благородные и умные; вредны только умные и благородные. Вот тебе славянофильское исповедание. Хочешь текстов? «Не обличай буйного: обличай премудрого». Сирах. «Аще соль обуяет, чем осолится?» Поэтому не давай соли или тому, что должно бы быть солью, обуять. Пожалуйста, не смотри на это как на шутку: таково наше глубокое убеждение. Из этого всего не следует, чтобы мы пропустили в статье слово, неприятное для друга, если бы мы ее прочли в рукописи, но следует, что мы не можем сердиться за напечатанное, если мы знаем, что оно было напечатано без коварного или лично злого намерения. От тебя зависит или потребовать от Акс<акова> печатного объяснения, которое непременно будет неловкостью, или вовсе оставить без внимания неловкость, которая именно тем меня и рассмешила, что написавший ее вовсе совершенно не думал о насмешке, а воображал себе, что он остается в пределах чисто ученого определения.

Нам было обещали тебя надолго как жителя Москвы, и мы радовались от души. Слух вышел пустой, и, может быть, ты не жалеешь, что не попал в хлопоты и

в эту тяжелую борьбу противоположных стремлений, которая до сих пор оставляет все в таком неопределенном состоянии: мы жалеем, и искренно. Мы знаем, что несколько месяцев сблизили бы нас вполне, а этого не будет, покуда мы в Москве, и именно в Москве, не съедим вместе мерки две каши. Странное дело! Покуда Питер и Москва были далеко, покуда от одного до другой было четыре дня да ломка повозок и боков по круглякам, — они казались близкими. Сделали шоссе: езда сделалась шуткою, и они отдалились. Теперь уже вовсе переезда и ездой назвать нельзя, и они очутились как будто на двух полюсах. Вот тебе и сближение и расчеты вероятностей по мудрости человеческой! Неужели ты никак уж к нам не приедешь? Ты бы увидел, что старые друзья все по-старому друзья, и не думал бы, что они равнодушны к чему-нибудь, что тебе может быть неприятным, хоть я и сказал, что смеялся. Seriously, у Кошелева с Акс<аковым> чуть-чуть не дошло до разрыва; но во всех нас одно убеждение: что намерения враждебного против тебя лично не было, что никто не может тебе приписать нелепого выражения и что всякая оговорка в другом № была бы совершеннейшею неловкостью.

Скажи, пожалуйста, мой усердный поклон княгине, которая, боюсь, больше тебя сердилась на нас; а ты не только сам не сердись, да и ее попроси простить вовсе не намеренную неловкость сотрудника, кажется, уже прославившегося по этой части. Прощай и скажи слово искреннего примирения.

Твой А. Хомяков.

Помнишь ли, что ты член Общ<ества> Люб<ителей> Р<оссийской> словесности? Общество снова оживило и просит тебя чем-нибудь его вспомнить. Всякое твое слово будет нам любезно и дорого.

Председатель А. Хомяков.

Секретарь М. Максимович.

Временный секретарь М. Лонгинов.

*Одоевский — Хомякову
СПб. 5-е февр<аля> 1859.*

Спасибо тебе и на том, любезный друг Хомяков, что когда тебя спросишь, то ты отзовешься. Поблагодари крепко тех, в ком выходка г. Аксакова произвела негодование, к сожалению, остающееся неизвестным для читателей «Паруса» и нечитателей «Сельского чтения». Твоей теории, виноват, в толк взять не могу; без сомнения, проделка г. Аксакова смешна, но не в том смысле, как ты ее разумеешь. Оставим меня в стороне: человек наряжен в шуты и выведен в таком наряде на весь честной мир, пусть так; возратить наряд — *по принадлежности*, как говорят в канцеляриях, — дело обиженного, и оно соделается, как скоро решится судьба «Паруса»; характер отчета будет зависеть от того: запретят ли «Парус», или нет. Но это — мило. Поговорим вообще — твоя теория навела меня на жестокую грусть: так вот что вырабатывается из вашего славяно-татарского направления! Человек, под хмельком патриархальности, дает другому зуботрещину — и это так, ничего, шутки ради, нет, виноват, не шутки — а за любовь, по убеждению и проч. т. п. Я вообще имею весьма мало почтительности к так называемым искренним убеждениям; нелепое убеждение, искреннее или нет, все-таки нелепо; а как о степени нелепости судит один Бог, то следует воздерживаться от зуботрещин. Они хороши в кулачном бою, но в образованном — виноват, употребил еретическое слово, — в человеческом, по крайней мере, обществе, они не должны быть допускаемы, по

простому математическому расчету, — ибо иначе зуботрещинам конца не будет. Так отсутствие деликатства, легкомысленное презрение к человеческой личности, принесение достоинства в жертву какой-то чучеле, фетишу, созданному вопреки истории вашей фантазией — все это, по-вашему, признаки нашей народности! — если так, то благодарю господу Бога, что считал всегда ваши фантазии наследственной в вас болезнью, от которой должно лечиться, насколько позволяют другие живые силы нашего организма.

Твой Одоевский.

Примечания

Одоевский прожил долгую жизнь, был известным писателем, государственным и общественным деятелем, его эпистолярное наследие огромно: тысячи писем, значительная их часть в разное время опубликована.

Переписка Одоевского с А. С. — это дружеский спор старинных друзей, людей одного поколения и одной культуры, чьи разногласия не мешают взаимному сердечному пониманию и уважению. Для понимания этого спора важен ценный новонайденный «Меморандум» В. Ф. Одоевского (Хомяковский сборник. Томск, 1998. Т. I). Впервые опубликовано: Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1970. Вып. 251.

...поблагодарить за присланную «Азбуку»... — Одоевский составлял азбуки для народа, и речь, видимо, идет об «Азбуке русской новейшей» (СПб., 1844).

«Сельское чтение» (СПб., 1843—1848, кн. 1—4) — сборники для просвещения народа, издававшиеся Одоевским и А. П. Заблоцким-Десятовским.

Чухландия — в Финляндии близ Выборга у Одоевского была мыза (дача) Ронгас.

Винокур — служащий принадлежавшего Хомякову винокуренного завода.

Желябужский Иван Афанасьевич (1638—1709) — думный дворянин, черниговский воевода, автор воспоминаний (СПб., 1840).

...как ты сам говоришь в 4 т<оме> «Москвитянина»... — Имеется в виду статья Хомякова «Мнение иностранцев о России».

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — поэт, историк литературы, профессор Московского университета, примыкал к славянофильскому лагерю.

«Маяк» — консервативный журнал.

«Библиотека для воспитания» (М., 1843—1846, ч. 1—6) — сборники для детей, издававшиеся славянофилом Д. А. Валуевым, родственником Хомякова. По-видимому, Одоевскому принадлежит рассказ «Машенькина кукла», напечатанный во второй части сборника.

...с «Сельскими беседами» Фишера... — Имеется в виду книга Е. Фишера «Сельские беседы для народного чтения» (СПб., 1842).

Водяные знаки — кавычки.

Авдотья Петровна Елагина (1789—1877) — писательница, хозяйка славянофильского литературного салона, мать братьев Киреевских.

Максимович Михаил Александрович (1804—1873) — филолог, поэт, издатель альманаха «Денница».

Кошелев Александр Иванович (1806—1883) — общественный деятель, промышленник, публицист, издатель славянофильских журналов.

Бешенцов А. — консервативный публицист.

Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875) — историк литературы и библиограф.